

Перевод Ольги Комаровой

Джованнинио Гуарески

ПИСЬМО

Впервые нам выдали формуляр письма — бланк, испещрённый инструкциями на немецком, на итальянском оставалось заполнить пустые графы. Правая его половина предназначалась для ответа, писать нужно было аккуратно, чтоб ненароком не залезть на неё, буквы выводить карандашом, разборчиво, не выходя за пунктирные линии, в точности как того требуют международные конвенции о защите прав человека.

В комплекте с этой хитроумной почтовой декларацией шла сложенная вдвое карточка, к которой прилагались строгие инструкции на французском. Её, в свою очередь, следовало прикрепить к упакованной по всем правилам посылке, что позволит оной добраться из Италии к месту нашей временной дислокации.

Капитан Н. озабоченно заметил, что на всё про всё у нас 24 строчки, а капитан Ч. добавил, что сюда же надо включить и подробные инструкции по комплектации, то есть задача предстояла не из лёгких. «Значит будем предельно лаконичны», — подытожил Капитан М.

За дело принялись со всей тщательностью, делясь творческими успехами.

Капитан Н., желая узнать, как идут дела и как справляются дома, покумекав немного, выдал первую замысловатую фразу: «Домоделаграфируй!» Ёмкость его письма завораживала. Капитану Ч. удалось достичь не меньшей сжатости — он хотел, чтобы супруга выслала ему тёплый мундир и комплект шерстяного белья, и написал неподражаемое: «Отеплумундирь и ушерстекомплектуй!»

Покончив с личными запросами, мы взялись за самую сложную часть: в двух словах объяснить домашним, что посылку надо хорошенько утрамбовать и снабдить второй половиной сопроводительного бланка, весить она должна не более пяти килограмм, пересылать медикаменты, писчую бумагу и горючие вещества запрещено, а положить, например, табаку, крупы и сухарей нужно непременно.

Потрудиться пришлось изрядно, но результат того стоил: «Утрамбуйте пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки без писчебумажных и медгорючих. Осухарите и окрупотабачьте».

Тут-то мне и вспомнились газетные колонки с объявлениями, теперь их причудливый язык не казался смешным, наоборот, при мысли о старых страницах сердце с новой силой защемило от тоски. О, убористые серые строки, диковинные, словно скупым телеграфистом урезанные словечки, вы рассказывали нам о том, что сорокалетние девы познакомятся для создания семьи, а литработники легкообучаемы, возможно перепрофилирование; о скромных б/у однушках; о койко-местах, ждущих платёжеспособных съёмщиков; о жилплощадах с хол/гор водой, предпочтение госслужащим. О, серые строчки, вы повествовали об авто втридешева, готовых мягко выкатиться на дорогу асфальт 5 минут до чистейшего озера, о токарно-револьверных станках, срочно требующихся гудящим цехам, вы прочили нам решения деликатнейших вопросов, сулили сверхприбыльные сделки, пели о порядочных пенсионерах и предложениях трудоустройства. Когда-то мы потешались над вашей витиеватостью, но по эту сторону колючей проволоки я вспоминаю вас с едва уловимой грустинкой.

Да, серые колонки, замысловатая литературная форма, десять лир строчка, теперь я проникаюсь вашим искусством. В вашей поэзии пульсирует особая жилка, могучий внутренний ритм: это поэзия рабочих будней, ритм самой жизни!

Вас-то я и вспомнил, слушая затейливо сооружаемые нами слова, но былой ритм нарушен, а слог утерян. Теперь на месте серых столбцов мне видится пустая страница, унылый белый лист, в самом низу которого крошечными буквами набрана одна-единственная строчка, безумная и беспомощная: «Потерялся папа, просим вернуть. Сын».

«Утрамбуйте пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки...».

В памяти всплывали чудаковатые словечки на последней странице старого выпуска «Коррьере делла Сера», литработникии, однушки и хол/гор вода. Но нелепым этот язык уже не казался, напротив, именно такие слова сейчас требовались, их я и стал подбирать. Уселся в сторонке и малюсенькими буковками начал заполнять свои двадцать четыре строчки.

Разумеется, карандашом, не выходя за пунктирные линии, в точности как того требуют международные конвенции о защите прав человека:

«Дорогая, утрамбуй пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки без писчебумажных и медгорючих. Теплоснаряди, отабачь и окаштань, впрочем, если полагаешь, что каштаны будут полезны сыну, побереги их для него. Мне же ничего не нужно. Об одном молю: в канун Рождества собери на стол всё, что есть в доме, распакуй нашу утварь, достань хрустальный сервиз, постели лучшую скатерть, самую новую, с вышивкой, и пусть в эту ночь

горят все огни. И ёлку наряди огромную, с кучей свечей, а у окна любовно сооруди вертеп, как в прошлом году.

Сделай это ради меня, родная, ибо душа моя каждую ночь рвётся к вам, уносясь за колючую проволоку... Я знаю, что тебе трудно представить, как душа может куда-то уноситься, ведь это всего лишь безликое и неосязаемое дуновение, ну так представь, что сам я еженощно вырываюсь на волю. Представь, что твой Джованнино лёгок, как сон, и прозрачен, как воздух морозными зимними ночами.

И каждый раз, когда все засыпают, я взмываю в небо, пролетаю над бесконечным безмолвием чужих земель и незнакомых городов. Вокруг мгла да скорбь, и я отправляюсь искать свет и уют. Вот я вновь вижу Мадонну на шпиле Дуомо, но не узнаю ни улиц, ни площадей, всё так изменилось, и никак не найду наш пятый этаж...

Драгоценная моя, не ругайся, что я в своём репертуаре, что только последний сумасброд может влетать в комнату через крышу, ты подумай сама, неужто лучше карабкаться по обвалившимся ступеням? И потом: крышу давно снесло при бомбёжке, да и быстрее так. Я узнаю пол, перекрытия, здесь мы жили, но воспоминания погребены под обломками стен. Здесь тоже царят мгла, холод и скорбь, и лишь когда луна милостиво освещает руины, мне удаётся разглядеть на ошмётках обоев, сохранившихся на стенах, светлые следы от нашей мебели.

По пустынным дорогам нынче бродит лишь страх в лунном свете. А на обрывке обоев в бывшей прихожей чернеет диковинный цветок с пятью лепестками. Помнишь, родная, как Альбертино, этот проказник, перепачкал ручки в чернилах и разукрасил нам все комнаты? Тщетно ищу я следы нашей счастливой поры на стенах в кабинете: и стен-то больше нет, да и всё здание больше похоже на груды цемента, закопченную дымом до черноты.

И я бегу прочь из немого окутанного мглой города, бегу туда, где, ещё неженатый, впервые встретил тебя, ещё незамужнюю. Но и там витает беспросветная горечь, и наконец я бросаюсь к той хижине, где приютились мои далёкие пожитки и близкие мне жизни. Ты спишь, Альбертино спит, спят и мои мать с отцом.

Все спят и, как знать, может, чают увидеть во сне моё далёкое неведомое пристанище. В тесных тёмных комнатках не протолкнуться — всюду громоздится наша мебель, а в пыльных ящиках на чердаке леденеют слова моих книг.

Ненаглядная моя, я так ищу хоть каплю света, хоть толику тепла и уюта, а нахожу лишь мрак да холод, даже лицо сына не рассмотреть впотьмах, не горят огни ни на пляжах, ни у озёр — ни души, ни звука, и я

возвращаюсь в лагерь, где ждёт меня всё та же соломенная подстилка, холод, пронизывающий до костей, и номер 6865 на рукаве.

А посему, разлюбезная моя, хотя бы в Сочельник уповаю я на тёплый и светлый закуток и мечтаю, что, прилетев к вам, увижу блеск огней и любимые лица, найду позабытый уют, ведь иначе и концлагерь не в радость...»

Тут мне показалось, что я не укладываюсь в 24 строчки. Я прервался и пересчитал их: в самом деле, строк было 138, я исписал 24 своих, 24, предназначенных для ответа, и ещё пять листов, подвернувшихся под руку. Пришлось аккуратно стереть всё и начать заново:

«Дорогая, утрамбуй пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки без писчебумажных и медгорючих. Теплоснаряди и отобачь...».

Затем подумал, что и в «пятикилопакете» проверяющие могут углядеть бог весть какой взрывоопасный смысл, и грустно заключил, что, когда пишешь домой, вечно не знаешь, что сказать.

Из цикла «Рождество 1943-го», лагерь Беньяминово.

24 декабря 1943.